



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подошел к Петербургу. В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагоприятно развитую нижнюю часть лица. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел и, наконец, спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:

— Зябко?

И повел плечами.

— Очень, — ответил сосед с чрезвычайною готовностью, — и, заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

— Из-за границы, что ль?

— Да, из Швейцарии.

— Фью! Эк ведь вас!..

Черноволосый присвистнул и захохотал.

Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, с лишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «Что же, вылечили?» — белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».

— Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, — язвительно заметил черномазый.

— Истинная правда! — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом, — истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

— О, как вы в моем случае ошибаетесь, — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом, — конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал да два почти года там на свой счет содержал.

— Что ж, некому платить, что ли, было? — спросил черномазый.

— Да, господин Павлицев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

— Куда же приехали-то?

— То есть где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право... так...

— Не решились еще?

И оба слушателя снова захохотали. — И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? — спросил черномазый.

— Об заклад готов биться, что так, — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.

— Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. — Гм... генерала же Епанчина знаем-с, собственно, потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлицева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлицев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с...

— Точно так, его звали Николай Андреевич Павлицев, — и, ответив, молодой человек пристально и пытливым взглядом господина всезнайку.





*Особенно примечна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонизировавшее с нахальной и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом.*

— А позвольте, с кем имею честь... — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.

— Князь Лев Николаевич Мышкин, — отвечал тот с полною и немедленною готовностью.

— Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, — отвечал в раздумье чиновник.

— О, еще бы! — тотчас же ответил князь, — князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде...

— Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, — захихикал чиновник.

*Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падающую болезнь.*

Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать, довольно, впрочем, плохой каламбур.

— А представьте, я совсем не думая сказал, — пояснил он, наконец, в удивлении.

— Да уж понятно-с, понятно-с, — весело поддакнул чиновник.

— А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? — спросил вдруг черномазый.

— Да... учился...

— А я вот ничему никогда не обучался.

— Да ведь и я так кой-чему только, — прибавил князь, чуть не в извинение. — Меня по болезни не находили возможным систематически учить.

— Рогожиных знаете? — быстро спросил черномазый.

— Нет, не знаю совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?

— Да, я, Рогожин, Парфен.

— Парфен? Да уж это не те ли самых Рогожиных... — начал было с усиленною важностью чиновник.

— Да, тех, тех самых, — быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый.

— Да... как же это? — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное, — это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капитала оставил?

— А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капитала оставил? — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. — А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат, подлец, ни мать ни денег, ни уведомления — ничего не прислали! Как собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал!..

— А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о господи! — всплеснул руками чиновник.

— Ну чего ему, скажите пожалуйста! — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами пре-до мной ходи.

— И буду, и буду ходить.

— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!

— Тьфу тебя! — сплюнул черномазый. — Пять недель назад я вот, как и вы, — обратился он к князю, — с одним узелком от родителя во Псков убер, к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей-богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.

— Вы его чем-нибудь рассердили? — отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе.

— Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, — отвечал Рогожин. — Они все думают, что я еще болен, — продолжал Рогожин князю, — а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон, да и еду; отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно чрез Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.

— Чрез Настасью Филипповну? — подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.

— Да ведь не знаешь! — крикнул на него в нетерпении Рогожин.

— Ан и знаю! — победоносно отвечал чиновник.

— Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь

так тотчас же и повиснет! — продолжал он князю.

— Ан, может, и знаю-с! — тормозился чиновник. — Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с некоим Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным ведущие...

— Эге, да ты вот что! — действительно удивился, наконец, Рогожин, — тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает. Я, князь, в третьегоднешней отцовской бекеше через Невский перебежал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княги-



— Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна! — потирая руки, хихикал чиновник, — теперь, сударь, что подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим...

ня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому совсем то есть лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первойшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бунуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, — одна расправа — убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбежал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллианту в каждой, эдак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам — ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я то есть тогда не сказался, что это я самый и есть; а «от Парфена, дескать, Рогожина, — говорит Залёжев, — вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять». Раскрыла, взглянула, усмехнулась: «Благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание», — откланялась и ушла. Ну, вот зачем я тут не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что думал: «Все равно, живой не вернусь!» А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залёжев все на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холоуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно. «Ну, — говорю, как мы вышли, — ты у меня

теперь тут не смей и подумать, понимаешь!» Смеется: «А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?» Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: «Ведь уж все равно», и как окаянный воротился домой.

— Эх! Ух! — кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала, — а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал.

— Сживывал! — переговорил Рогожин, — ты что знаешь? Тотчас, — продолжал он князю, — про все узнал, да и Залёжев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал. «Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду». Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула: «Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеныча». Ну, а я этой порой, по матушкину благословиению, у Сережки Протушина двадцать рублей достал да во Псков по машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся.

Въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.

— Ишь, и Залёжев тут! — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился к князю. — Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем, одену тебя в кунью



*Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее.*

шубу в первейшую; фрак тебе сошью первейший, жилетку белую али какую хошь, денег полны карманы набью, и... поедем к Настасье Филипповне! Придешь али нет?

Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему:

— С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанные мне платья и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.

— Деньги будут, к вечеру будут, приходи! А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!

— Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь, по рожденной болезни моей, даже совсем женщин не знаю.

— Ну, коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юридивый, и таких, как ты, бог любит! А ты ступай за мной, стро-

ка, — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.

Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и

мокро; князь расспросил прохожих, — до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.

Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне



*В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупках. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями.*

от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин — человек без образования и происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных, слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого по-настоящему начинается истинная жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные, зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на

службе, веселое ввечеру за картами или у его сиятельства — все способствовало настоящим и грядущим успехам и устлало жизнь его превосходительства розами.

Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только пятьдесят душ, — правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. За немногими исключениями, супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери — Александра, Аделаида и Аглая. Все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло двадцать пять лет. Средней было двадцать три года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Все три отличались образованием, умом и талантами.

Было уже около одиннадцати часов, когда князь позвонил в квартиру генерала.

Генерал, Иван Федорович Епанчин, стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался.

— Так-с, — отвечал генерал, — чем же могу служить?

— Дела неотлагательного я никакого не имею; цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений... Но я только что сам из вагона... приехал из Швейцарии...

— Для знакомств вообще я мало времени имею, — сказал генерал, — но так как вы, конечно, имеете свою цель, то...

— Я так и предчувствовал, — перебил князь, — что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели.

— Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не все же забавы, иногда, знаете, случаются и дела... Притом же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего... так сказать, причины...



*Генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил.*

— Причины нет, бесспорно, и обещего, конечно, мало. Потому что, если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но, однако ж, весь-то мой повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был, с лишком; да и что я выехал: почти не в своем уме! И тогда ничего не знал, а теперь еще хуже. В людях хороших нуждаюсь; даже вот и дело одно имею и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал: «Это почти родственники, начну с них; может быть, мы друг другу и пригодимся, они мне, я им, — если они люди хорошие». А я слышал, что вы люди хорошие.

— Очень благодарен-с, — удивлялся генерал, — позвольте узнать, где остановились?

— Я еще нигде не остановился.

— Значит, прямо из вагона ко мне? И... с поклажей?

— Да со мной поклажи всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего; я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять.

— Так вы все еще имеете намерение номер занять?

— О да, конечно.

— Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом все разъяснить: так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, — хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, — то, стало быть...

— То, стало быть, вставать и уходить? — приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств.

Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя; вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение.

— А знаете, князь, — сказал он совсем почти другим голосом, — ведь я вас все-таки не знаю, да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца... Подождите, если хотите, коли у вас время терпит.

— О, у меня время терпит; у меня время совершенно мое (и князь тотчас же поставил свою мягкую, круглополюю шляпу на стол).

— Вот что, князь, — сказал генерал с веселою улыбкой, — если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, и приятно будет познакомиться. Впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что... А сколько вам лет, князь?

— Двадцать шесть.

— Ух! А я думал, гораздо меньше. Два слова-с: имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так...

— Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею и никаких занятий, тоже покамест, а надо бы-с.

— Скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить и какие были ваши намерения? — перебил генерал.

— Трудиться как-нибудь хотел.

— О, да вы философ; а впрочем... знаете за собой таланты, способности, хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают? Извините опять...



— По крайней мере, — перебил генерал, — вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место, в какой-нибудь службе?



— О, не извиняйтесь. Нет-с, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется...

Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал все, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлицеве и даже знал лично. Почему Павлицев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить, — впрочем, просто, может быть, по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Он рассказал, наконец, что Павлицев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валийском, лечит по своей методе холодной водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие; что Павлицев отправил его к нему в Швейцарию лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер, внезапно, не сделав распоряжений; что Шнейдер держал и долечивал его еще года два; что он его не вылечил, но очень много помог; и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству, отправил его теперь в Россию.

Генерал очень удивился.

— Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?

— О, очень могу.

— Прекрасно-с; а почерк?

— А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы, — с жаром сказал князь.

— Сделайте одолжение. И это даже надо... И люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень, право, милы. Ганя, дайте князю бумагу; вот перья и

бумага, вот на этот столик пожалуйста. Что это? — обратился генерал к Гане, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата, — ба! Настасья Филипповна! Это сама, сама тебе прислала, сама? — оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю.

— Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил. Не знаю, уж не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день, — прибавил Ганя, неприятно улыбаясь.

— Еще бы, день рождения, двадцать пять лет! Гм... А знаешь, Ганя, я уж, так и быть, тебе открою, приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово: быть или не быть! Так смотри же, знай.

Ганя вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного. Генерал пристально рассматривал Ганю; смущение Гани ему видимо не нравилось.

— Тут, брат, дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которою примешь ее слова... Что у тебя дома делается?

— Да что дома? Дома все состоит в моей воле, только отец по обыкновению дурачится, но ведь это совершенный безобразник сделался. Мать все, конечно, плачет; сестра злится, а я им прямо сказал, наконец, что я господин своей судьбы, и в доме желаю, чтобы меня... слушались. Сестре по крайней мере все это отчеканил, при матери.

— А я, брат, продолжаю не постигать, — задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. — Нина Александровна тоже намедни, вот когда приходила-то, помнишь? стонет и охает. «Чего вы?» — спрашиваю. Выходит, что им будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой уже вздор, при известных обстоятельствах особенно!

Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своею каллиграфскою пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок.

— Так это Настасья Филипповна? — промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет, — удивительно хороша! — прибавил он тотчас же с жаром. Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя...

— Как, Настасья Филипповна! Разве вы уж знаете и Настасью Филипповну? — спросил генерал.

— Да; всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю, — ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.

— Вот еще новости! — опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю.

— Вероятно, одно только безобразие, — пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя, — купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал.

— Да и я, брат, слышал, — подхватила генерал. — Тогда же, после ссерег, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит и... страсть, безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, во всем хмелю!.. Гм!.. Не вышло бы анекдота какого-нибудь! — заключил генерал задумчиво.

— Вы миллиона опасаетесь? — осклабился Ганя.

— А ты нет, конечно?

— Как вам показалось, князь, — обратился вдруг к нему Ганя, — что это, серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно ваше мнение?

— Не знаю, как вам сказать, — ответил князь, — только мне показалось, что в нем много страсти, и даже какой-то большой страсти. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять ляжет, особенно если закутит.

— Так? Вам так показалось? — уцепился генерал за эту идею.

— Да, показалось.

— И, однако ж, этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера, сегодня же, может, что-нибудь обернется, — усмехнулся генералу Ганя.

— Гм!.. Конечно... Пожалуй, а уж тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет, — сказал генерал.

— А ведь вы знаете, какова она иногда?

— То есть какова же? — вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. — Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь и постарайся эдак, знаешь, быть... одним словом, быть по душе... Гм!.. Что ты так ротишь кривить?

Он вдруг оборотился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и все-таки слышал. Но он мгновенно успокоился: при одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться.

— Ого! — вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем, — да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри-ка, Ганя, каков талант!

На толстом веленовом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу:

«Смиранный игумен Пафнутий руку приложил».

— Вот это, — разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — это собственная подпись игумена Пафнутия, со снимка четырнадцатого столетия.

— Ого! да в какие вы тонкости заходите, — смеялся генерал, — да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя?

— Удивительно, — сказал Ганя, — и даже с сознанием своего значения, — прибавил он, смеясь насмешливо.

— Смейся, смейся, а ведь тут карьера, — сказал генерал. — Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да

вам прямо можно тридцать пять рублей в месяц положить, с первого шагу. Местечко в канцелярии я вам приищу, не тугое, но потребует аккуратности. Теперь-с насчет дальнейшего: в доме, то есть в семействе Гаврилы Ардалионыча Иволгина, маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Плата самая умеренная, и я надеюсь, жалованье ваше вскорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные денги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избежать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то, для первоначалу, позвольте вам предложить вот эти двадцать пять рублей. Мы, конечно, сочтемся, и если вы такой искренний и душевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире?

— О, напротив! И мамаша будет очень рада... — вежливо и предупредительно подтвердил Ганя.

— Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более что я даже и не просил; я не из гордости это говорю; я и действительно не знал, куда голову приклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин.

— Рогожин? Ну, нет; я бы вам посоветовал отечески или, если больше любите, дружески, и забыть о господине Рогожине. Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите.

— Если уж вы так добры, — начал было князь, — то вот у меня одно дело. Я получил уведомление...

— Ну, извините, — перебил генерал, — теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете

Прокофьевне: если она пожелает принять вас теперь же (я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать), то советую воспользоваться случаем и понравиться.

Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу. Вдруг он подошел к князю; тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его.

— Так вам нравится такая женщина, князь? — спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение.

— Удивительное лицо! — ответил князь, — и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!

— А женились бы вы на такой женщине? — продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда.

— Я не могу жениться ни на ком, я нездоров, — сказал князь.

— А Рогожин женился бы? Как вы думаете?

— Женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.

Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул.

— Что с вами? — проговорил он, хватая его за руку.

— Ваше сиятельство! Его превосходительство просят вас пожаловать к ее превосходительству, — возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.

Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же ей было услышать, что этот последний в роде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий и принимает подавание на бедность.



*Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя.*

— Принять? Вы говорите, его принять, теперь, сейчас? — и генеральша изо всех сил выкатила свои глаза на суетившегося пред ней Ивана Федоровича.

— О, на этот счет можно без всякой церемонии, если только тебе, мой друг, угодно его видеть, — спешил разъяснить генерал. — Да вот он и сам. Вот-с, рекомендую, последний в своем роде князь Мышкин, однофамилец и, может быть, даже родственник, примите, обласкайте. Сейчас пойдут завтракать, князь, так сделайте честь... А я уж, извините, опоздал, спешу...

— И то, — решила генеральша. — Пойдемте, князь; вы очень хотите кушать?

— Да, теперь захотел очень и очень вам благодарен.

— Это очень хорошо, что вы так вежливы... Кушайте, князь, и рассказывайте: где вы родились, где воспитывались? Я хочу все знать; вы чрезвычайно меня интересуете.

Князь поблагодарил и, кушая с большим аппетитом, стал снова передавать все то, о чем ему уже неоднократно приходилось говорить в это утро. Генеральша становилась все довольнее и довольнее. Девушки тоже



*На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Князь поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его.*

*Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание.*

